

# 1

— Кушать подано, Госпожа, — сказал я. —  
Пожалуйте к столу.

Она ничего не ответила. Застыла на месте, опираясь о трость. Я подошел, взял ее под руку, подвел к столу и усадил. Она что-то пробормотала. Я спустился на кухню, принес поднос и поставил перед ней. Она взглянула, но к еде не притронулась. Проворчав что-то, она вытянула шею. Тут я вспомнил о салфетке, достал ее и повязал ей.

— Ну, и что ты приготовил сегодня на ужин? — спросила она. — Интересно, что ты на сей раз выдумал?

— Фаршированные баклажаны, — ответил я. — Вы же просили вчера.

— С обеда остались?

Я пододвинул ей тарелку. Она взяла вилку и, ворча, поковыряла баклажаны. Некоторое время рассматривала их, а потом стала есть.

— Госпожа, ешьте салат, — сказал я и вышел.

Тоже взял себе баклажан, сел и начал есть.

Вскоре раздалось:

— Соль! Реджеп, где соль?

Я встал, пошел к ней, поглядел на стол — солонка рядом с ней.

— Вот же ваша соль!

— Только что ее тут не было, — сказала она. —

Почему ты выходишь, когда я ем?

Я не ответил.

— Они разве завтра не приедут?

— Приедут, Госпожа, приедут! — сказал я. — Не рассыпьте соль!

— Отстань! Они приедут?

— Завтра днем, — сказал я. — Они же звонили...

— Что у тебя еще есть?

Я унес остатки баклажана, красиво разложил на чистой тарелке фасоль и принес обратно. Она снова стала брезгливо ковыряться в тарелке, и тогда я опять вышел — я тоже обедаю. Через некоторое время она позвала меня — на этот раз нужен был перец, но я сделал вид, что не слышу. Потом она крикнула, чтобы я принес фрукты; я пошел и пододвинул к ней миску с фруктами. Ее костлявая, тонкая рука медленно бродила по персикам, словно усталый паук, потом наконец остановилась.

— Они все порченые! Где ты их нашел, на земле собирал?

— Они не порченые, Госпожа! — ответил я. — А спелые. Это самые лучшие персики. Купил в овощном. Вы же знаете — здесь не осталось персиковых деревьев...

Она, сделав вид, что не услышала меня, выбрала персик. Я вышел из комнаты и уже доедал фасоль, как вдруг раздалось: — Развяжи! Реджеп, где ты, развяжи мне салфетку!

Я вскочил, побежал к ней и, потянувшись вверх, чтобы развязать ей салфетку, увидел, что она съела

половину персиков.

— Дам-ка я вам лучше абрикосов, Госпожа, — сказал я. — А то потом скажете, что проголодались, и опять разбудите меня ночью.

— Спасибо, — сказала она. — Я, слава богу, еще не дошла до того, чтобы есть эту падалицу. Развязывай салфетку!

Я снял с нее салфетку, а когда стал вытирать ей рот, она сморщилась и закатила глаза, будто молилась. Потом встала: — Отведи меня наверх!

Она оперлась на меня, и мы прошли несколько ступеней, но на девятой все же остановились передохнуть.

— Ты приготовил им комнаты? — спросила она, переводя дыхание.

— Приготовил.

— Ну хорошо, давай дальше, — сказала она и еще сильнее оперлась на меня.

Мы опять стали подниматься, и, когда добрались до последней ступеньки, она, проговорив: «Слава богу, девятнадцатая!» — вошла в свою комнату.

— Зажгите свет! — сказал я. — Я иду в кино.

— Надо же, в кино он идет! — отозвалась она. — Взрослый человек. Смотри, допоздна не задерживайся.

— Не задержусь.

Я спустился на кухню, доел свою фасоль, помыл посуду, снял передник; галстук на мне, пиджак взял, кошелек с собой. Я вышел на улицу.

С моря дует прохладный ветер, такой приятный;

он шелестит листьями смоковниц. Я закрыл калитку и зашагал к пляжу: когда забор нашего двора кончился, начались мостовая и стены новых бетонных домов. На балконах в маленьких тесных садиках сидят люди, включили свои телевизоры, смотрят и слушают новости. На решетках мангалов жарится мясо, поднимается ароматный дым. У мангалов стоят женщины. Никто меня не видит. Семьи, жизни. Так интересно... Когда приходит зима, абсолютно все уезжают, и тогда на пустых улицах я слышу звук собственных шагов, и мне становится жутко... Холодно, я надел пиджак, свернул на боковую улицу.

Как странно думать, что все одновременно сидят за ужином и смотрят телевизор! Я бреду по переулкам. В конце одного из них, заканчивавшегося на маленькой площади, остановилась машина, из нее вышел только что приехавший из Стамбула и усталый на вид отец семейства с сумкой в руках и вошел в дом. Он так беспокоился, словно опаздывал на званый ужин с просмотром вечерних теленовостей. Я опять вернулся на набережную и услышал там голос Измаила: — Национальная лотерея! До розыгрыша шесть дней!

Меня он не видел. А я не подал голоса. Он бродил между столиками — виднелась его голова, то исчезая, то вновь появляясь. Потом его подозвали к столику, он подошел, наклонился и протянул девушке в белом платье с лентой в волосах пачку лотерейных билетов. Девушка с серьезным видом выбирала билет и довольно улыбалась отцу с матерью. Я уже

отвернулся и не смотрю на них. Если бы я крикнул и Измаил увидел бы меня, то, прихрамывая, быстро бы подошел ко мне. Он бы спросил: «Почему ты никогда к нам не заходишь, братец?» Я бы ответил: «Ваш дом далеко, Измаил, да к тому же на холме». — «Да, ты прав, — согласился бы он и добавил: — Когда Доанбей дал нам деньги, надо было мне покупать землю не на холме, а здесь, у моря! Ах, Реджеп, кабы взял я землю здесь, вместо того чтобы купить там, на холме, потому что ближе к вокзалу, то сегодня был бы миллионером». Да-да, именно так он и сказал бы. А его красивая жена всегда молчит и смотрит. Чего мне к ним ходить? Иногда зимой, по вечерам, когда мне не с кем поговорить, мне хочется к ним, я иду туда, но все время слышу одни и те же разговоры.

Маленькие бары на берегу совершенно пусты. Работают телевизоры. Разносчики чая расставили рядами сотни пустых чайных стаканчиков, и все они, чистые-пречистые, сияют в свете больших ярких лампочек. Разносчики ждут, когда закончатся новости, и тогда толпа заполнит улицы. Под пустыми столами кошки. Иду дальше.

К пирсу с противоположной стороны привязаны шлюпки. На маленьком грязном песчаном пляже никого нет. Засохшие водоросли, выброшенные на берег, бутылки, куски полиэтилена... Говорят, что дом лодочника Ибрагима скоро снесут, и кофейню тоже. Я внезапно разволновался, увидев освещенные окна кофейни. Может быть, найдется кто-нибудь, кто не играет в карты, мы поговорим, он спросит меня, как

дела, я расскажу, он выслушает, потом я его спрошу, он будет рассказывать, а я — слушать. Во время разговора мы оба будем кричать из-за громкого звука телевизора и шума голосов. Это дружба. Может, мы даже в кино вместе пойдем.

Но когда я вошел в кофейню, у меня сразу испортилось настроение, потому что те двое парней снова были там. Ну вот: завидев меня, они оживились, переглянувшись, усмехнулись. Я вас в упор не вижу, смотрю на свои часы, ищу себе собеседника. А, вон слева сидит Невзат, наблюдает за игрой картежников. Я подошел к нему, забрался на стул и уселся. С довольным видом повернулся, улыбнулся ему и сказал: — Здравствуй. Как дела?

Он ничего не ответил.

Я немного посмотрел телевизор — заканчивались новости. Затем я посмотрел на карты, переходившие от одного игрока к другому, и на Невзата, наблюдавшего за ними, подождал, пока партию доиграют; она закончилась, и все весело заговорили друг с другом. Но не со мной. Затем началась следующая партия, и все опять ушли в нее с головой, а потом игра снова закончилась. Когда карты стали раздавать в очередной раз, я заговорил, потому что решил сказать наконец что-нибудь: — Невзат, ты утром продал очень хорошее молоко.

Он кивнул, не отрывая глаз от карт.

— А знаешь, жирное молоко полезно.

Он опять кивнул. Я посмотрел на часы: без пяти девять. Затем — на экран телевизора. Должно быть, я

задумался, потому что заметил хихиканье парней не сразу. У них в руках была газета, и я подумал: «О господи, неужели там опять карикатура? Ведь они смотрели то на меня, то в газету и мерзко пересмеивались. Реджеп, не обращай внимания!» Но потом я все-таки решил: «Наверное, там карикатура. Газеты иногда их печатают — они безжалостны. А под ней еще напечатают фотографии голых женщин и медведей из зоопарка, у которых родились медвежата, и несправедливую, дурацкую статью». Почему-то я повернулся к Невзату и машинально спросил: — Как дела?

Он на секунду повернулся ко мне, пробормотав что-то, но, так как в голове у меня был только рисунок, я не нашелся что ответить, и возможность начать разговор была упущена. Вдобавок от нечего делать я опять посмотрел в сторону тех двух парней. Мы встретились взглядами, и тогда они делано улыбнулись. Я отвернулся. В игре выпал король. Игроки ругнулись, обрадовались, потом расстроились. Потом началась новая игра, другие карты, другое веселье. Карикатура там, что ли? Внезапно мне пришло в голову попросить: — Джемил! Сюда один чай!

Так я нашел то, что позволит мне хотя бы ненадолго забыть о рисунке и отвлечься. Но этого хватило ненадолго, я опять задумался о газете, куда со смехом смотрели парни. Когда я еще раз обернулся, они показали газету Джемилю, и он смотрел туда, на что они указывали. А затем Джемиль заметил, что я с

беспокойством смотрю на них, ему стало неудобно, и он внезапно закричал на парней: — Ах вы, бессовестные!

Итак, стрела выпущена из лука. Теперь я не могу сделать вид, что ничего не происходит. Мне следовало давно встать и уйти отсюда. Парни хохочут.

— Что случилось, Джемиль? — спросил я. — Что там, в газете?

— Ничего! — ответил он. — Всякая ерунда!

Любопытно невыносимо. Я попытался взять себя в руки, но у меня нет сил. Как зачарованный, я слез со стула и медленно пошел к Джемилю мимо примолкших парней.

— Дай-ка мне эту газету!

Он попытался ее спрятать. А потом с виноватым видом произнес: — Как странно! Разве такое может быть? Зачем это?

А затем, повернувшись к парням, добавил: — Бессовестные! — И наконец, слава богу, протянул мне газету.

Я выхватил газету у него из рук, как голодный — хлеб, раскрыл ее. Сердце бешено колотится. Задыхаясь, я смотрю туда, куда он показывает, но нет, никакой карикатуры нет.

— Где?

— Вот! — ответил Джемиль с любопытством и ткнул пальцем в страницу.

Я быстро прочитал: «Историческая рубрика»... «Старинные сокровищницы Юскюдара<sup>1</sup>»... «Поэт Яхья Кемаль и Юскюдар»... Ниже маленькие



заголовки: «Мечеть Рум Мехмет-Паша»... «Мечеть Ахмедие и общественный источник рядом с ней»... «Мечеть Шемси-Паша, при ней библиотека»... Затем палец Джемиля неловко опустился ниже, и я увидел: «Дом карликов в Юскюдаре!»

Кровь ударила мне в лицо. На одном дыхании я прочел: «...Помимо вышеперечисленного, в Юскюдаре некогда находился и дом карликов. Этот дом, созданный не для обычных людей, а для лилипутов, ничем не отличался от обычных домов. Только размеры комнат, дверей, окон и лестницы были для карликов, а обычному человеку нужно было согнуться, чтобы войти. Согласно исследованиям искусствоведа, нашего учителя, профессора, доктора наук Сухейля Энвера, этот дом приказала построить супруга Султана Мехмеда III, мать Султана Ахмеда I<sup>2</sup>, Хандан Султан, очень любившая своих карликов. Чрезмерная любовь этой женщины к своим карликам играет важную роль в истории султанского гарема. Хандан Султан пожелала, чтобы ее дорогие друзья, которых она так любила, после ее смерти жили вместе, в покое и без забот, и выполнить ее волю поручили главному придворному плотнику, мастеру Рамазану. Говорили, что его работа и резьба по дереву были столь совершенны, что дом прослыл маленьким шедевром. Но поскольку в записках Эвлии Челеби<sup>3</sup>, посетившего в те же годы Юскюдар, об этом доме ничего не говорилось, мы вынуждены заметить, что достоверно неизвестно, существовал ли такой необычный, интересный дом на самом деле или нет.

Даже если такой странный дом действительно существовал, то во время известного пожара 1642 года, когда выгорела большая часть Юскюдара, он, должно быть, был утрачен».

Я был потрясен тем, что прочел. У меня дрожали ноги, спина взмокла от пота.

— Не придавай значения, Реджеп! — сказал Джемиль. — Чего ты обращаешь внимание на этих негодяев?

Мне жутко хочется прочитать газету еще раз, но у меня нет сил. Я словно задыхаюсь. Газета выскользнула у меня из рук и упала на пол.

— Сядь ты, — сказал Джемиль. — Успокойся. Ты обиделся, расстроился. — Повернувшись к парням, он еще раз повторил: — Бессовестные!

Я, с трудом держась на ногах, тоже посмотрел на них и увидел, что они смотрят на меня с ехидным любопытством.

— Да, — промолвил я, — я расстроился. — Немного помолчал и послушал, что он мне говорит, а потом собрал все силы и сказал: — Но я расстроился не оттого, что я карлик. Я расстроился потому, что люди такие плохие, что могут смеяться над пятидесятипятилетним карликом.

Наступила тишина. Кажется, мои слова все услышали, даже те, кто играл в карты. Мы встретились взглядом с Невзатом. Интересно, он понял? Парни смотрят перед собой; наверное, им стало немного стыдно. У меня кружится голова, телевизор шумит.

— Бессовестные! — повторил Джемилль в пустоту.  
— Стой, Реджеп, куда ты? — позвал он.

Я не ответил. Качаясь, сделал несколько маленьких шагов — веселые огни кофейни остались у меня за спиной. Я опять на улице, в прохладной темной ночи.

Я не в состоянии идти, но, сделав над собой усилие, прошел еще несколько шагов, а затем сел на одну из тумб у края пирса. Я глубоко вдыхал чистый воздух, сердце все еще колотилось. Что делать? Вдалеке сияют огни баров и ресторанов; по деревьям развешены разноцветные фонарики, и под этими фонариками сидят люди, едят и беседуют друг с другом. Боже мой!..

Дверь кофейни открылась, и я услышал, как Джемилль зовет меня: — Реджеп, Реджеп! Где ты?

Я не подал голоса. Он не увидел меня и пошел обратно.

Много времени спустя я услышал шум поезда на Анкару и поднялся. Должно быть, сейчас десять минут десятого. Я рассуждал так: разве все это — не просто слова? Разве все это — не облако звуков, что исчезнет, едва только образуется в пустоте? Я немного успокоился, но домой возвращаться не хочется, а больше делать нечего: пойду в кино. Я остыл, сердце забилося ровно, сейчас мне гораздо лучше. Я глубоко вздохнул и пошел.

Вот и кофейня осталась позади; там, конечно же, все давно забыли обо мне и о моих словах. Телевизор, естественно, шумит, а парни ищут, над кем бы еще

посмеяться, если Джемиль их не прогнал. Я опять иду по улице, здесь много народу, все поужинали и теперь гуляют, чтобы растряссти съеденное, пока не уселись перед телевизором или в баре. Они едят мороженое, разговаривают, здороваются друг с другом — женщины, их мужья, по вечерам возвращающиеся из Стамбула, и их что-то жующие дети; они узнают друг друга и снова здороваются. Я прошел мимо ресторанов, Измаила не видно. Может, билеты у него кончились и он сейчас поднимается к своему дому. Если бы вместо кино я пошел к нему, мы бы поболтали. Но, как всегда, об одном и том же.

На улице уже было очень много народу. Машины перед кафе и люди, по двое, по трое шагавшие по главной улице, мешали движению. Я в пиджаке и при галстуке, но находиться в такой толпе выше моих сил: я свернул в переулки. На тесных улочках, освещенных синим светом телевизоров, дети играют в прятки среди припаркованных машин. В детстве я думал, что мог бы хорошо играть в эту игру, но тогда я не мог найти в себе смелости присоединиться к ним, как Измаил. Но если бы мог играть, то спрятался бы лучше всех. Если здесь — то, например, среди развалин старинного постоянного двора, где, как говорила мама, когда-то была чума, а если в деревне — то в конюшне. И если бы я сам никогда не вышел, то посмотрели бы мы, над кем бы все смеялись. Мама-то меня искала бы, говорила: «Измаил, где твой старший братик?» — а Измаил шмыгал бы носом и отвечал бы: «Откуда я знаю», а в это время я слушал

бы их и потом сказал бы: «Мама, я буду жить тайно, в одиночестве, никому не показываясь», — но мама вдруг начала бы так плакать, что я сказал бы: «Ладно-ладно, мама, я выхожу, смотри, вот я, здесь, я больше не прячусь, мама», и мама спросила бы: «Почему ты прячешься, сынок?» — и я бы подумал, что, наверное, она права, — зачем прятаться, скрываться? И тут же забыл бы обо всем.

Я увидел их, когда быстро шагал по главной улице. Сыткы-бей возмужал, женился, рядом с ним его жена, у них даже есть ребенок — с меня ростом. Он узнал меня, улыбнулся, остановился.

— Здравствуй, Реджеп-эфенди, — сказал он. — Как у тебя дела?

Я всегда жду, пока со мной заговорят первыми.

— Здравствуйте, Сыткы-бей, — ответил я. — Спасибо, хорошо.

Мы с ним пожали друг другу руки, а с его женой — нет. Ребенок смотрел на меня испуганно, с любопытством.

— Милая, Реджеп-эфенди — один из самых старых жителей Дженнет-хисара<sup>4</sup>.

Его жена, улыбаясь, кивнула. Я обрадовался — горжусь, что я старейший житель этого городка.

— Бабушка в порядке?

— Ох, — ответил я, — Госпожа жалуется на все!

— Столько лет прошло! — сказал он. — А где Фарук?

— Они завтра приедут, — сказал я.

Он повернулся к жене и начал рассказывать, что

Фарук-бей — его друг детства. А потом мы, не пожав друг другу рук, а лишь на прощанье кивнув, расстались. Сейчас он, конечно же, рассказывает жене о своем детстве и обо мне: как я, когда они были маленькими, отвел их к колодцу и стал учить их ловить кефаль, и тогда ребенок спросит: «Папа, а почему этот человек такой маленький?» Я с давних пор отвечал на это: «Потому что его мама родила его незамужней». Сыткы женился. Фарук-бей тоже женился, но детей у них не было, а так как у моей мамы, наоборот, дети были, Госпожа отослала нас с мамой в деревню. Перед тем как отослать нас, она ругала и била нас с мамой своей тростью, а мама умоляла: «Перестаньте, Госпожа, дети-то в чем виноваты?» Мне иногда кажется, что я слышал эти слова в тот ужасный день...

Я пришел на ту улицу, где был кинотеатр, послушал музыку — перед фильмом всегда играют. Здесь всегда хорошее освещение. Я посмотрел на афиши: «Встретимся в раю». Старый фильм: Хюлья Коч-Йигит и Эдиз Хун<sup>5</sup> на первой фотографии обнимают друг друга, потом фотографии, где Эдиз в тюрьме, а Хюлья поет песню, но, не посмотрев фильм, невозможно понять, в какой последовательности все это происходит. Людям любопытно, и, наверное, об этом известно — потому и фотографии на улице вешают. Я пошел в кассу — пожалуйста, один билет, — кассир отрезал и протянул мне его — спасибо, — а еще я спросил: «Фильм хороший?»

Не видел, говорит. Бывает, мне ни с того ни с сего

хочется с кем-нибудь поговорить. Я пошел, сел на свое место, стал ждать. Вскоре начался фильм.

Сначала они познакомились, девушка — певица, он ей не нравится, но однажды парень спасает ее от плохих и начинает ей нравиться, и она понимает, что любит его, но ее отец против этой свадьбы. Потом парень попадает в тюрьму. Начался небольшой перерыв, но я остался сидеть и не пошел на улицу вместе со всеми. Потом фильм продолжился: девушка вышла замуж за владельца казино, но у них не было детей, и они ничего не предпринимали. Когда ее муж стал ходить к одной дурной женщине, а Эдиз сбежал из тюрьмы, они встретились в доме у моста через Босфор, и Хюлья Коч-Йигит спела песню. Когда я слушал эту песню, мне стало немного грустно. Потом, когда он решил избавить ее от плохого мужа, тот уже сам заслужил себе кару, и стало ясно, что теперь они могут пожениться. Ее отец с радостью смотрит им вслед, и они идут по дороге рука об руку, идут и идут, и постепенно становятся все меньше, и появляется слово **КОНЕЦ**.

Зажегся свет, мы вышли на улицу, все шепотом говорят о фильме. Я бы тоже хотел поговорить с кем-нибудь. Десять минут двенадцатого, Госпожа, конечно же, ждет, но домой мне не хочется.

Я пошел к дороге, спускавшейся к пляжу. Может быть, дежурит аптекарь Кемаль-бей, может, он не спит. Я его побеспокою, мы поговорим, расскажу ему обо всем, он задумчиво выслушает меня, глядя на парней в свете витрины закуской напротив,

споривших, у кого машина лучше. Увидев, что в аптеке горит свет, я обрадовался: он не спит. Я открыл дверь, зазвонил колокольчик. О господи, это не Кемаль-бей, а его жена.

— Здравствуйте, — сказал я, помедлив. — Мне нужен аспирин.

— Упаковка или штучно? — спросила она.

— Две штуки. Голова болит. Мне немного не по себе... Кемаль-бей... — говорю я, но она не слушает: берет ножницы, отрезает аспирин, дает таблетки мне. Я протягиваю ей деньги и спрашиваю: — Кемаль-бей утром был на рыбалке?

— Кемаль спит наверху.

Я взглянул на потолок. Он спит там, в полуметре от потолка. Проснись он, я бы все ему рассказал; может быть, он сказал бы что-нибудь о бессовестных парнях, а может, ничего бы не сказал, просто посмотрел бы задумчиво на улицу, а я бы говорил, мы бы разговаривали. Я взял сдачу, которую положила мне своей маленькой белой ручкой его жена. Затем сразу углубилась в журнал, лежавший на прилавке, — наверное, комикс. Красивая женщина! Я пожелал спокойной ночи, вышел, не мешая ей читать, — прозвенел колокольчик. Улицы опустели, дети, игравшие в прятки, разошлись по домам. Что делать, придется вернуться домой.

Притворив калитку, я увидел через ставни свет в комнате Госпожи: она не спит, пока я не лягу. Я вошел через кухонную дверь, запер ее на замок, побродил немного по кухне, и, когда стал медленно



подниматься по лестнице, мне вдруг пришло в голову: интересно, а в том доме в Юскюдаре были лестницы? В какой же это было газете? Завтра пойду в бакалею и куплю этот номер, спрошу бакалейщика: «У тебя есть „Терджуман“?»<sup>6</sup> Наш Фарук-бей попросил, он историк, ему стало интересно, что там в исторической рубрике...» Я поднялся наверх, вошел к ней в комнату. Она лежала в постели.

— Я пришел, Госпожа, — сказал я.

— Молодец, — ответил она. — В конце концов ты зашел и домой.

— Что делать, фильм поздно кончился.

— Ты хорошо запер двери?

— Хорошо, — ответил я. — Вам что-нибудь нужно? Я ложусь. А то потом меня разбудите.

— Они приезжают завтра, да?

— Да. Я постелил им постели и приготовил комнаты.

— Хорошо, — проговорила она. — Закрой мне дверь хорошенько.

Я вышел и закрыл дверь. Сразу лягу и усну. Я стал спускаться по лестнице.

---

<sup>1</sup> Юскюдар — район в азиатской части Стамбула.

<sup>2</sup> Султан Мехмед III (годы правления 1595–1603) — отец Ахмеда I (годы правления 1603–1617).

<sup>3</sup> Эвлия Челеби (1611–1682/1683) — османский путешественник, географ, писатель.

4 *Дженнет-хисар* — маленький городок под Стамбулом.

5 *Хюлья Коч-Йигит* и *Эдиз Хун* — известные турецкие киноактеры.

6 «*Терджуман*» («Переводчик») — крупная еженедельная турецкая газета.

## 2

Я слышу, как он спускается по лестнице — ступенька за ступенькой. Что он делает на улице до поздней ночи? Не думай об этом, Фатьма, иначе в голову полезут всякие гадости. Но все-таки любопытно. Интересно, хорошо ли запер двери коварный карлик? Ему же все равно! Сразу ляжет в кровать и проспит всю ночь, похрапывая, как истинный сын своей служанки-матери. Спи, карлик, спи беззаботным, беспечным сном слуги, спи, а ночь пусть достанется мне. Я не могу уснуть. Я думаю, что засну и забуду, но лишь жду сон и, пока жду, понимаю, что жду напрасно. Но жду.

Селяхаттин сказал бы, эта твоя бессонница — химическая проблема, сон — такое же явление, как и все остальные, и его можно познать, Фатьма, формулу сна однажды непременно откроют, как когда-то открыли формулу воды —  $H_2O$ . Естественно, откроют ее не наши увальни, а опять, как это ни печально, европейцы, и тогда никто не будет понапрасну ждать до утра, надев смешную пижаму и забравшись между этими бесполезными простынями и твоими смешными глупыми одеялами в цветочек, чтобы прошла усталость. Тогда нам будет достаточно накапать в стакан воды три капли из маленькой бутылочки и выпить, чтобы стать совершенно свежими и полными жизни, словно мы только что проснулись. Ты можешь

представить, Фатьма, что мы сможем сделать тогда за то время без сна, что достанется нам, ты можешь представить себе эти часы без сна?

Мне не нужно думать об этом, Селяхаттин, я знаю: я буду смотреть в потолок, буду смотреть на него и ждать, пока какая-нибудь мысль не захватит и не унесет меня отсюда, но сон так и не придет. Если бы я могла пить вино и раки, я бы, может быть, спала, как ты, но мне не нужен такой ужасный сон. Ты выпивал по две бутылки: я, Фатьма, пью не ради удовольствия, а чтобы прояснилось в голове и прошла усталость от работы над энциклопедией. А потом ты спал с открытым ртом и храпел, а я убегала, потому что мне был противен запах раки, которым несло у тебя изо рта, напоминавшего мне темный колодец, где лягушки совокупаются с пауками. Холодная, несчастная женщина, ты же бездушная, как камень! Выпила бы ты хоть рюмочку, может, поняла бы! Ну, Фатьма, давай выпей, пожалуйста, пей — я приказываю, ты что, не знаешь, что нужно слушаться своего мужа?! Вот, знаешь! Тебя так учили. Так что пей, я тебе приказываю. Пей, а грех я беру на себя, давай, Фатьма, пей, пусть твой разум станет свободным; ну-ка пей — твой муж тебя просит, давай, не бойся; о господи, эта женщина заставляет меня ее упрашивать, мне надоело это одиночество, да что тут такого, Фатьма, выпей рюмочку, или ты не слушаешься своего мужа?

Нет, не поддамся я лживой змее! Никогда я не пила. Только раз. Из любопытства. Когда никого не

было. Помню соль на кончике языка, лимон и этот ядовитый вкус. Потом я испугалась и пожалела, что попробовала; сразу же прополоскала рот, все вылила и несколько раз вымыла стакан и с любопытством стала ждать, что у меня закружится голова, села, чтобы не упасть; было страшно — господи, неужто я стану пьяницей, как он, но ничего не случилось. Я поняла это и успокоилась — шайтан до меня не доберется.

Я смотрю на потолок. Мне больше не уснуть, лучше встану. Пошла, ловко открыла ставни, ведь комары меня не беспокоят. Я легонько оттолкнула створки окна. Ветер успокоился. Тихая ночь. Смоковница замерла. У Реджепа свет не горит: он, естественно, сразу уснул, карлику ведь не о чем беспокоиться, сразу засыпает. Все его заботы — еда, да горстка моего белья, да покупки на базаре, а покупает он в результате гнилые персики, да и то после того, как часами прослоняется по улицам.

Моря мне не видно, но я представляю себе, как оно простирается во все стороны — так далеко, что даже не видно. Мир такой огромный! Как приятно пахнет на шумных катерах и лодках, в которых всегда плавают голышом! Мне так нравится этот запах! А еще я слышу сверчка. За неделю прополз дорогу длиной в шаг. А я даже столько не прошла. Когда-то я думала, что мир прекрасен; я была ребенком, я была глупой. Я закрыла ставни, повернула задвижку — пусть мир останется там.

Медленно села на стул, посмотрела на стол. Вещи

среди безмолвия. Наполовину полный кувшин, а в нем замерла вода. Когда мне захочется пить, я открою стеклянную крышку, дотронусь до него, подниму, стану лить воду в стакан и буду смотреть и слушать, как она льется. Стекло будет позвякивать, вода медленно польется с тихим плеском — и от нее повеет прохладой. Это нечто новенькое; это меня развлечет, я отвлекусь, но пить не буду. Пока не буду. Нужно экономно расходовать то, что позволяет делить время. Я смотрю на свою щетку для волос и вижу застрявшие в ней волосинки. Беру и вычищаю ее. Мои слабые, тонкие девятистолетние волосы постепенно исчезают. Исчезает то, что называют временем; время-время, пробормотала я. Я перестала чистить щетку и положила ее спинкой вниз: она лежала, как насекомое, перевернувшееся вверх лапками, и я испугалась. Если я все так и оставлю и тысячу лет к ним никто не прикоснется, то все тысячу лет так и простоит. Ключ, кувшин, предметы на столе. Как странно — все останется, все застынет! Тогда и мысль моя застынет, как кристалл льда, замрет, без цвета и без запаха; вот бы застыла!

Но завтра они приедут, а я опять буду думать. Здравствуй, здравствуй, Бабулечка, как твои дела, как ты, поцелуют мне руку, долгих лет тебе. Бабушка, как вы, как вы, Бабушка? Я буду рассматривать их. Не говорите все сразу, хором, ну-ка, ты, иди сюда, подойди ко мне. Расскажи, чем ты занимаешься? Я знаю, что спрошу, чтобы быть обманутой, и выслушаю несколько пустых слов, чтобы услышать

ложь! Это и всё?! Вы не поговорите со своей Бабушкой? Они переглянутся, о чем-то поговорят между собой, похихикают, а я все услышу и все пойму. В конце концов они станут кричать. Не кричи, не кричи, уши мои еще слышат, хвала Аллаху! Простите, Бабушка, другая наша бабушка тоже плохо слышит! Я — не она! Я мать вашего отца, а не матери. Извините, извините! Хорошо-хорошо, давайте рассказывайте! Расскажите что-нибудь! Что именно? Ну, хотя бы об этой вашей второй бабушке, о ней расскажите, что она делает? Внезапно они растерянно замолчат: действительно, что делает другая наша бабушка? И тогда я пойму, что они не научились видеть и понимать, ну и ладно, но я все-таки буду спрашивать их, хоть и не для того, чтобы им поверить, и, когда я все же решу спросить, увижу: они уже, конечно, давно обо всем и думать забыли. Они заняты не мной, не комнатой, не тем, что я спрашиваю, а своими собственными мыслями, а я опять одна...

Я потянулась и взяла с тарелки абрикос, ела и ждала. Нет, не помогло. Я снова здесь, среди вещей, и ни о чем не думаю. Смотрю на стол. Без пяти двенадцать. Рядом с часами бутылка одеколona, газета, а около нее — носовой платок. Так они и лежат. Я буду смотреть на них, взгляд мой будет бродить по ним, буду рассматривать их — в надежде, что они мне что-нибудь скажут, но они так о многом напоминали мне, что теперь им уже нечего сказать. Это просто бутылка одеколona, газета, платок, ключ и часы. Часы тикают, и никто, даже Селяхаттин, не

знает, что такое время. Тут появилась другая мысль, а за ней еще одна, маленькая и беспокойная, — смотри не думай слишком долго ни об одной из этих минут, прыгай, выходи отсюда, давай выйдем вместе, из времени и из комнаты. Я съела еще один абрикос, но выйти не смогла. В таком случае я обычно еще дольше смотрю на предметы, мне хочется, чтобы привычная мысль напугала и отвлекла меня: если бы меня не было и никого не было, то вещи стояли бы на своих местах бесконечно долго, и тогда никто не смог бы даже подумать, что он не знает, что такое жизнь, никто!

Нет, отвлечься мне не удалось. Я встала со стула, пошла в туалет, помылась и, не задев паука, висевшего в углу, вернулась в комнату. Я повернула выключатель, и лампа, свисавшая с потолка, погасла, горит только та, что у изголовья моей кровати, и я ложусь в постель. Жарко, но что делать — я не могу спать без одеяла: его можно обнять, под него можно лечь, в нем можно спрятаться. Я опустила голову на подушку, жду и знаю, что сон сразу не придет. Бледный свет лампы падает на потолок, я слушаю сверчка. Какие жаркие ночи летом!

Правда, раньше, кажется, летом бывало жарче. Мы пили лимонад, пили шербет. Но не на улицах, где его продавали мужчины в белых передниках. Мама говорила: дома нальем в чистые стаканы и выпьем, Фатьма. Мы возвращаемся с рынка; в лавках ничего интересного. Вечером мы ждем отца, он придет, будет говорить, мы — слушать; запахнет табаком, и он,



покашливая, будет рассказывать нам о чем-то. Однажды он сказал: Фатьма, к тебе один доктор сватается. Я молчу! Подумаешь, доктор! Я молчу, и отец ничего не говорит, но на следующий день еще раз повторяет об этом, а мне еще только шестнадцать лет, и мама говорит — слушай, он, кажется, врач, а я подумала: вот странно, интересно, где он меня увидел? Мне стало страшно, и я ни о чем не спросила, но все же задумалась: врач. Пустая черепушка? Потом отец напомнил еще раз и добавил: у него блестящее будущее, Фатьма, я навел справки, он трудолюбивый, может быть, немного скупой, но порядочный и умный человек, подумай хорошенько. Я промолчала. К тому же было очень жарко, мы пили шербет... Не знаю я... В конце концов я сказала «ладно», и тогда отец подозвал меня к себе — дочка, ты покидаешь отцовский дом, вот что заруби себе на носу... — он говорил о том, что мужчинам нельзя задавать много вопросов, любопытство пристало кошкам, — хорошо, папа, вообще-то я знаю об этом, — дочка, я напомню тебе об этом еще раз, и руки так не складывай, и ногти не грызи — ты уже взрослая, — хорошо, папа, я не буду спрашивать — ты не будешь спрашивать — я не спрашивала.

Я не спрашивала. Прошло четыре года, но у нас все еще не было детей, потом я поняла — из-за стамбульского климата; жарким летним вечером пришел Селяхаттин не к себе в смотровую, а прямо ко мне и сказал: теперь, Фатьма, мы не будем жить в Стамбуле! Я не спросила — почему, Селяхаттин, но

он стал рассказывать, размахивая руками, как непоседа-ребенок: теперь, Фатьма, мы не будем жить в Стамбуле, сегодня меня позвал Талат-паша и сказал: доктор Селяхаттин, больше ты жить в Стамбуле не будешь и политикой заниматься тоже не будешь! Вот что сказал мне этот наглец! Я было ответил — нет, а он сказал: ты говоришь, что большой герой, а мы тебя тогда вместе со всеми прямо сейчас, первым же кораблем, отправим в Синопскую тюрьму, тебе же этого не хочется, что поделаешь, ты много против нас выступал, ты ругал партию, но ты ведь разумный человек, подумай сам — ты женат, ты врач, у тебя хорошая профессия, ты где угодно в мире сможешь запросто заработать себе на жизнь, а как у тебя с иностранными языками, дорогой мой? Накажи тебя Аллах! Фатьма, ты понимаешь, эти партийцы из «Единения и прогресса»<sup>7</sup> совсем обнаглели, не терпят свободу, так чем тогда они отличаются от Абдул-Хамида?<sup>8</sup> Так и быть, Талат-эфенди, ваше предложение я принимаю, и если я прямо сейчас собираю свои шмотки, то не думай, что я боюсь Синопской тюрьмы. Нет! Мы едем в Париж, Фатьма, не потому, что я боюсь тюремных стен, а потому, что знаю, что смогу ответить вам, как надо, только из Парижа; Фатьма, продай несколько колец и бриллиантов! Не хочешь, ладно, у меня осталось кое-что от отца; если и этого не хватит, то мы поедем не в Европу, а в Салоники; зачем нам выезжать из страны, поедем в Дамаск; знаешь, доктор Рыза уехал в Александрию и пишет оттуда, что очень много

зарабатывает; где мои письма, не могу найти, господи, сколько раз говорить — не прикасайтесь к моему столу; и в Берлин можно, а о Женеве ты когда-нибудь слышала; а эти все тут стали хуже Абдул-Хамида; ну чего ты, давай не стой и не смотри на меня так растерянно, а собирай чемоданы и коробки, жена борца за свободу человека должна быть стойкой, разве не так; нечего бояться. Я молчала и даже не сказала — поступай как знаешь, а Селяхаттин все говорил и рассказывал, как партийцы в свое время проучили Абдул-Хамида из Парижа, а теперь он покажет им всем из Парижа и что наступит такой день, когда мы тоже вернемся с победой из Парижа на поезде! А потом он сказал — нет, поедем в Дамаск. Или в Измир. Вечером он уже говорил, что согласен ехать в Трабзон; Фатьма, мы должны продать наше имущество, ты готова пожертвовать всем? Ведь я хочу отдать все свои силы борьбе, ни о чем не говори при слугах, Фатьма, у стен есть уши. Талат-эфенди, тебе совсем не надо выгонять меня: я и сам не намерен оставаться в этом проклятом борделе под названием Стамбул, куда мы поедем; Фатьма, скажи что-нибудь! Я молчала и думала, что он как ребенок. Да, так обмануть шайтан может только ребенка, я вижу, что вышла замуж за ребенка, которого можно сбить с пути с помощью нескольких книг. Той ночью я вышла из своей комнаты — было жарко, я решила попить чего-нибудь, увидела свет в его комнате, пошла туда, тихонько открыла дверь, заглянула и увидела: Селяхаттин оперся локтями о стол, закрыл руками

лицо и плачет — уродливый свет тусклой лампы светит на его заплаканное лицо. На столе перед ним стоит неизменный череп и смотрит на то, как плачет взрослый мужчина. Я осторожно прикрыла дверь, пошла на кухню, выпила стакан воды и подумала — значит, он совсем ребенок, ребенок.

Я медленно встаю с кровати и сажусь за стол, смотрю на графин. Как это воде удастся находиться там, не двигаясь? Кажется, я удивилась, будто кувшин с водой — что-то особенное. Однажды я поймала стаканом пчелу. Всякий раз, когда мне становилось скучно, я вставала с кровати и смотрела на нее: она два дня и две ночи ползала по стакану, пока не поняла, что выхода нет, а потом догадалась, что не остается ничего другого, кроме как затаиться в углу, сидеть не шевелясь и ждать, не зная чего. Тогда она показалась мне мерзкой и отвратительной, я открыла ставни, придвинула стакан к краю стола и подняла его, чтобы она улетела, но глупое создание осталось на месте! Она так и осталась на столе. Я позвала Реджепа и велела ему раздавить отвратительное существо. Он оторвал кусочек газеты, аккуратно поднял пчелу и выбросил из окна. Пожалел ее. Сам такой же, как эти насекомые.

Я налила в стакан воды, пью медленно, допила. Чем бы заняться? Я встала со стула, легла в кровать, на бок, положила голову на подушку и подумала о том времени, когда Селяхаттин строил здесь этот дом. Он держал меня за руку и водил по будущему дому: здесь будет моя смотровая, здесь — столовая, здесь —

кухня как в Европе; я приказал построить для каждого ребенка отдельную комнату, потому что каждый должен иметь возможность развиваться как личность, уединившись в своей комнате; да, Фатьма, я хочу троих детей: видишь, я и решетку на окнах не делаю, как это ужасно — решетка, разве женщина — птица или животное? Все мы свободны, хочешь — можешь бросить меня и уехать; у нас тоже будут ставни, как у них; и перестань, Фатьма, говорить — «у них», «у нас», а выступ этот называется не шахнишин<sup>9</sup>, а балкон — окно на свободу; какой прекрасный вид, правда, Фатьма? Стамбул, наверное, под теми облаками, всего пятьдесят километров, вот хорошо, что мы сошли с поезда в Гебзе<sup>10</sup>, время пройдет быстро, да я и не думаю, что с такими тупицами в правительстве они задержатся надолго, может, «Единение и прогресс» свергнут, пока мы еще не достроим наш дом, и тогда мы, Фатьма, сразу же вернемся в Стамбул...

Потом дом достроили, а у меня родился мой Доан, и опять началась война, но глупое правительство «Единения» все еще было у власти, и Селяхаттин говорил мне: езжай-ка теперь ты, Фатьма, в Стамбул, Талат мне запретил жить в Стамбуле, а не тебе; почему бы тебе не уехать — увидишь свою мать, отца, сходишь к подругам — дочкам Шюкрю-паши, пройдешься по магазинам, купишь себе новой одежды или хотя бы наденешь показать маме то, что шьешь и вяжешь здесь, когда с утра до вечера крутишь педаль швейной машины или когда портишь по ночам свои

прекрасные глаза вязанием; Фатьма, почему ты не уедешь, говорил он. Но я отвечала: нет, Селяхаттин, мы поедем вместе, когда их сместят, мы поедем вместе. Но их все никак не смещали. Потом однажды я увидела в газете... Газеты Селяхаттина приходили с опозданием на три дня, но он теперь не набрасывался на них, как прежде. Теперь его не интересовали новости с войны, поступавшие из Палестины, Галиции и с Дарданелл, и иногда я первая читала эти газеты, так как он забывал пролистать их после ужина. Узнав, что партия «Единение и прогресс» свергнута, я положила статью перед ним на тарелку, будто красивый, спелый фрукт. Он отвлекся от своей энциклопедии, чтобы поесть, взглянул на тарелку и тотчас заметил статью — ведь она была написана огромными буквами. Он прочел и ничего не сказал. А я ни о чем не спросила, но поняла, что после обеда он не написал в своей энциклопедии ни строчки, так как до самого вечера у меня над головой раздавались звуки его шагов. А когда и за ужином Селяхаттин ничего не произнес, я сказала: Селяхаттин, ты видел, их свергли! Хм, да, действительно, ответил он, правительство свергнуто, «Единение и прогресс» сбежали, погубив государство, а войну мы проиграли! Он не мог смотреть мне в глаза, и мы молчали. А вставая из-за стола, он произнес — отводя взгляд, со стыдом, словно говорил о позорном грехе, что хотелось забыть: теперь, Фатьма, мы вернемся в Стамбул, когда я закончу энциклопедию, потому что по сравнению с делом, которое я выполняю, написав

эту энциклопедию, мелкие повседневные глупости, называемые этими глупцами политикой, — ничто; то, что я здесь делаю, гораздо важнее и глубже, это невероятно важная миссия, влияние этого труда продолжится многие столетия спустя, и теперь у меня нет права, Фатьма, бросать эту работу незаконченной. А сейчас я немедленно поднимаюсь наверх работать, сказал Селяхаттин и тотчас поднялся к себе, и писал эту проклятую энциклопедию еще тридцать лет, пока не открыл понятие смерти, четыре месяца спустя не умер, мучаясь от ужасной боли, когда у него пошла изо рта кровь; и благодаря тому, что он писал, я уже семьдесят лет здесь, в Дженнет-хисаре, и спаслась, не погрязла в грехе, который ты называл «Стамбул будущего» и «Государство атеистов» — только за это я и благодарна тебе, Селяхаттин, — да, я спаслась, спи теперь спокойно, Фатьма...

Но мне не спится, и я слушаю шум далекого поезда, его гудок, долгий-долгий гул мотора и стук колес. Я давно полюбила эти звуки. Я всегда думала о том, что где-то далеко есть безгрешные страны, земли, дома и сады; я была ребенком, меня было просто обмануть. Вот еще один поезд проехал, теперь ничего не слышно; а куда он — не думай! Подушка у меня под щекой нагрелась, я повернулась на другой бок. Положила другую щеку на подушку — подушка прохладная. Зимой по ночам было холодно, но никто ни к кому не прижимался. Селяхаттин храпел во сне, а я, не выносившая запаха вина, струившегося из ямы его рта, уходила в соседнюю комнату и сидела в

холоде. А однажды я пошла в другую комнату, решила — взгляну-ка на его бумаги, что он там пишет такое с утра до вечера, что уже написал. Он писал статью о предке человека — горилле; в эти дни, писал он, мы становимся свидетелями невероятного подъема науки, демонстрируемого ныне Западом, на фоне чего вопрос существования Аллаха можно не принимать во внимание, так как он кажется смешным. Восток все еще спит в глубокой и мерзостной тьме Средневековья, но это не должно ввергать нас, горстку просвещенных людей, в уныние, а, наоборот, воодушевлять на великий труд, ибо совершенно ясно, что мы должны не просто перенести оттуда сюда всю эту науку, а должны заново все это открыть. Чтобы быстрее уничтожить эту разницу в несколько столетий между нами, писал он. И сейчас, когда на исходе седьмой год этого огромного труда, я вижу массы людей, одураченных страхом Аллаха. Так он писал. Боже мой, Фатьма, не читай больше, но я читала. Значит, чтобы разбудить эту инертную массу, писал он, я должен выполнить несколько странных дел, которые будущим поколениям покажутся очень смешными. Был бы у меня друг, с которым я мог бы поговорить обо всем этом, но нет, друга у меня нет, а на эту бессердечную женщину я больше не надеюсь, ты совершенно одинок, Селяхаттин, писал он, все писал и писал. А на маленьком листке бумаги было написано, что нужно сделать завтра. Чтобы доказать всем, кто еще не пробудился, что Аллаха не существует, он привел три простых примера, взятых



из карты миграционных путей аистов и других птиц в книге Поликовского. Но нет, больше я не могу читать, хватит, Фатьма; я отшвырнула его греховные бумаги и выбежала из холодной как лед комнаты, полной богохульств, чтобы не входить туда до того самого холодного снежного дня, когда он умрет, а на следующее утро Селяхаттин сразу все понял, — значит, ты вчера ночью, пока я спал, входила в мою комнату, Фатьма? Я молчу. Значит, ты вошла в комнату и рылась в моих бумагах, а, Фатьма? Молчу. Ты рылась в них, все перемешала, а некоторые — уронила на пол, да, Фатьма? Ладно, не важно, можешь читать, читай сколько хочешь, читай! А я молчу. Ты читала, правда? Молодец, правильно, Фатьма! А что ты думаешь об этом? Я все молчу. Ты же знаешь, что я всегда хотел этого. Читай, Фатьма. Читать — самое лучшее, читай и учись, ведь так много предстоит сделать, да? Я молчу. Если будешь читать и прозреешь, то однажды увидишь, Фатьма, как много всего нужно сделать в жизни. Как много всего!

Нет. Сделать нужно мало. Прошло девяносто лет, и я знаю — сделать нужно мало: я смотрю — вокруг, я вижу — предметы, комнаты; еще немного времени; невозможно остановить капли, капающие из крана, который никак не закрыть. Для моего тела, у меня в голове «сейчас» было «недавно», а «недавно» — «сейчас», глаза открываются — закрываются, и ставни открываются — закрываются, день-ночь, вот и новое утро. Но меня не обмануть. Я опять буду ждать. Завтра они приедут. Здравствуй, здравствуй! Будьте

здоровы. Бабушка! Поцелуют руку, улыбнутся — как странно чувствовать на руке волосы склонившейся ко мне головы. Как вы, Бабушка, как вы? Что может сказать такая, как я? Я живу, я жду. Мертвецы, могилы. Приходи, сон, приходи.

Я повернулась в кровати. Теперь я и сверчка не слышу. И пчела улетела. Сколько до утра? По утрам на крыше вороны, сороки... я просыпаюсь рано и слышу их. А правда, что сороки воруют? Драгоценности королев, принцесс? Говорят, однажды сорока что-то украла и за ней погнались. Интересно, как это птица смогла улететь с таким грузом. Как они летают? Как летают воздушные шары, цеппелины, и тот парень, Линдберг (Селяхаттин о нем писал), — как он летает? Если Селяхаттин выпивал не одну, а две бутылки, он забывал, что я не слушаю, и после ужина начинал рассказывать. Сегодня я, Фатьма, написал о самолетах, птицах и полете, на днях закончу статью о воздухе, вот, послушай: воздух — не густой, Фатьма, он состоит из частиц, и вода занимает такое же место в воздухе, какое в воде занимает плывущая лодка, — нет-нет, я не понимаю, как летают воздушные шары и цеппелины. Но Селяхаттин уже разошелся, рассказывает, и всякий раз кричит о своем выводе: вот, вот это все и нужно знать, вот что нам нужно — энциклопедия. Если изучить все естественные и общественные науки, то Аллах умрет, а мы... но больше я тебя не слушаю! Если он выпивал и третью бутылку, то говорил с яростью: «Да, Аллаха нет, Фатьма, теперь есть наука. Умер твой Аллах, глупая

женщина!» Но я все равно не слушаю! А потом, когда у него не осталось ничего, во что можно верить, кроме любви к самому себе и отвращения к самому себе, его охватила гадкая страсть, и он бежал к ней, в маленький домик в нашем саду. Не думай об этом, Фатьма. Служанка... Не думай... Оба — ущербные! Думай о чем-нибудь другом! О прекрасном утре, о старых садах, о повозках, запряженных лошадьми... Приходи, сон, приходи.

Моя рука тянется, как осторожная кошка, и лампа у моего изголовья гаснет. Беззвучная, тихая темнота! Но я знаю, что есть тусклый свет, что светит сквозь ставни. Теперь я не вижу предметов, они избавились от моих взглядов, замолчали и замкнулись в себе и словно говорят, что сумеют стоять неподвижно на своих местах и без меня, но я-то вас знаю: вы там, вещи, вы там, так близко от меня, вы словно чувствуете меня. То и дело какая-нибудь из них затрещит, я узнаю ее голос, он знаком мне, и мне тоже хочется отозваться, и я думаю: как странно то, что называют пространством, где мы находимся! Часы тикают и делят его на части. Четко и решительно. Одна мысль, затем другая. Будто бы наступило утро, будто бы они приехали... здравствуй, здравствуй!.. Я будто бы заснула, проснулась, время словно прошло, а я словно выспалась... Они приехали, Госпожа, приехали!.. Пока я жду, прогудел еще один паровоз. Куда он?.. До свидания!.. — ...куда, Фатьма, куда ты?! — Мы уезжаем, мама, нам запретили жить в Стамбуле... — Ты взяла свои кольца? — Взяла! — А

швейную машину? — Ее тоже. — А свои бриллианты, жемчуга? Они всю жизнь тебе будут нужны, Фатьма. Быстрее возвращайся! — Не плачь, мама... Сундуки и вещи грузят в поезд. У меня еще нет ребенка, мы отправляемся в путешествие, в дальний путь, неизвестно, куда мы едем, в какие дальние страны сослали нас с мужем, мы садимся в поезд, вы смотрите на нас, я машу рукой, до свидания, папа, до свидания, мама, смотрите — я уезжаю, Уезжаю в дальние края...

---

**7** «Единение и прогресс» («Иттихад ве Теракки»), или партия «младотурок», — националистическая партия, созданная в 1889 году в Париже. После прихода к власти в результате Младотурецкой революции в 1908 году оставалась правящей партией вплоть до 1918 года.

**8** *Абдул-Хамид II* — османский султан, правивший с 1876 по 1909 год. В результате Младотурецкой революции 1908 года некоторое время оставался конституционным монархом, но был окончательно низложен в 1909 году, некоторое время находился в ссылке в Салониках, а затем жил в Стамбуле вплоть до своей кончины в 1918 году.

**9** *Шахнишин* — традиционное помещение, встречавшееся, как правило, в домах состоятельных людей в Малой Средней Азии в виде смежного с гостиной алькова либо антресоли.

**10** *Гебзе* — небольшой город под Стамбулом.

### 3

— Слушаю вас, — сказал зеленщик. — Чего желаете?

— Молодые националисты устраивают вечер, — сообщил Мустафа. — Мы раздаем приглашения.

Я вытащил из сумки приглашения.

— Я в такие места не хожу, — сказал зеленщик. — У меня нет времени.

— То есть ты не возьмешь в помощь молодым националистам несколько штучек? — спросил Мустафа.

— Я же покупал на прошлой неделе, — ответил зеленщик.

— Ты покупал у нас? — поинтересовался Мустафа. — Нас-то на прошлой неделе здесь не было.

— А если ты помогал коммунистам, то это совсем другое дело, — с угрозой сказал Сердар.

— Нет, — сказал зеленщик. — Они сюда не ходят.

— Почему не ходят? — спросил Сердар. — Потому что им не хочется?

— Не знаю, — ответил зеленщик. — Оставьте меня в покое. Я всем этим не интересуюсь.

— Я скажу, почему они сюда не ходят, дяденька, — сказал Сердар. — Они не могут прийти, потому что боятся нас. А если бы нас не было, то коммунисты заставили бы всех вас платить им, как в Тузле<sup>11</sup>.

— Упаси бог!

— Вот видишь! Ты ведь знаешь, что они делают в Тузле простым людям? Сначала, говорят, они хорошенечко бьют витрины...

Я повернулся и посмотрел на витрину его магазина — там чистое, широкое и сверкающее стекло.

— Рассказать, что они делают потом, если человек все равно не платит? — спросил Сердар.

Я подумал — убивают. Если коммунисты все время так себя ведут, то в России кладбища наверняка битком набиты. Зеленщик наконец, кажется, понял. Руки в боки, лицо покраснело, смотрит на нас.

— Да, дяденька, — сказал Мустафа. — У нас нет времени. На сколько берешь?

Я вытащил билеты, чтобы ему было видно.

— Он возьмет десять штук, — произнес Сердар.

— Я уже покупал на прошлой неделе, — не соглашался зеленщик.

— Хорошо, ладно! — сказал Сердар. — Не будем терять время, ребята! Значит, на всем рынке только в этой лавке не боятся, что у них разобьют витрину... Ладно, так и запомним. Хасан, запиши-ка ее номер...

Я вышел на улицу, посмотрел на номер на двери и вернулся. Лицо зеленщика покраснело еще сильнее.

— Ладно, дядя, не сердись, — сказал Мустафа. — Мы вовсе не собираемся быть невежливыми. Ты нам в дедушки годишься, мы же не коммунисты. — Он повернулся ко мне: — Дай ему пять штук, на сей раз хватит.

Я вытащил пять билетов. Продавец протянул руку и осторожно, словно с отвращением, взял их за

краешек. Затем с очень серьезным видом начал читать заголовки на приглашениях.

— Мы тебе и чек можем дать, хочешь? — спросил Сердар.

Мне тоже стало смешно.

— Перестаньте! — сказал Мустафа.

— У меня уже есть пять таких билетов, — заметил зеленщик. Волнуясь, он некоторое время рылся в пыльной темноте ящика стола, а потом нашел приглашения и радостно показал их. — Это разве не те же самые?

— Те же, — согласился Мустафа. — Наверное, кто-то другой продал их тебе по ошибке. Но тебе надо было купить у нас.

— Так я же купил, вот!

— Дядя, ты что, умрешь, если еще пять штук купишь, а? — спросил Сердар.

Но старый скряга сделал вид, что не слышит, и пальцем показал на уголок билета.

— Да еще и старые. Вечер-то давно прошел, — сказал он. — Два месяца назад. Гляньте, здесь написано: «Май 1980 года».

— Послушай, ты что, собирался идти на этот вечер? — не выдержал Мустафа.

— А как я могу сегодня пойти на вечер, который был два месяца назад? — не унимался зеленщик.

В конце концов из-за этих пяти билетов и у меня чуть было не лопнуло терпение. Зря нас учили в школе быть терпеливыми. Только время всю жизнь терять, а больше ничего. Если бы на эту тему задали

написать сочинение, то я бы привел много примеров и написал бы так, что даже преподаватели турецкого, которые всегда искали случая завалить меня, вынуждены были бы в результате поставить мне «пять». Вот, я прав — Сердар разозлился, как я. Вдруг он подошел к старому скупердяю, нахально вытащил у него из-за уха карандаш, написал что-то на билетах и вместе с карандашом отдал обратно.

— Вот так годится, дяденька? — спросил он. — Вечер мы перенесли на два месяца. Давай пятьсот лир!

В конце концов тот отдал эти деньги. Вот как; и только наши глупые учителя турецкого верят, что сладкими речами можно заставить змею выползти из ее логова. Я так разозлился, что собирался тоже поиздеваться над старым скрягой, мне хотелось сделать ему какую-нибудь гадость. Мы уже выходили, вдруг я остановился и с самого низа аккуратно сложенной у двери башни из персиков вытащил один. Но развалились не все персики. Ему повезло. Персик я положил в сумку. А потом мы пошли к парикмахеру.

Парикмахер наклонил кому-то голову в раковину и моет. Он посмотрел на нас в зеркало.

— Я возьму пару штучек, ребята, — сказал он, не отпуская голову.

— Хотите — возьмите десять штук, дяденька, — предложил Мустафа. — Продадите кому-нибудь.

— Я же сказал: оставь две штуки, и хватит, — ответил парикмахер. — Вы разве не из союза?

Всего лишь два билета! Вдруг я взорвался:

— Нет, ты купишь не два билета, а десять. —



Отсчитав, я протянул билеты ему.

Даже Сердар растерялся. Вот, друзья, видите, каким я бываю, если меня разозлить? Но парикмахер билетов не взял.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

Намыленная голова в его руках тоже смотрит на меня в зеркало.

— Так ты берешь? — повторил я.

— Восемнадцать, — ответил Сердар.

— И кто это из союза направил тебя? Ты такой вспыльчивый, — сказал он.

Я не нашелся что сказать и посмотрел на Мустафу.

— Извините, дяденька, — вмешался Мустафа. —

Он еще новенький. С вами не знаком.

— Видно, что новенький. Ребятки, оставьте мне пару штучек.

Он вытащил из кармана двести лир. Наши сразу же согласились с ним, забыв обо мне, они чуть не руку ему целовали. Значит, если ты знаком с кем-то из союза, то, значит, ты здесь — бог и царь... Не брал бы вообще ничего. Я протянул ему два билета. Но он даже не повернулся ко мне, чтобы взять.

— Положи сюда!

Я положил. Хотел что-то сказать, но не смог.

— До свидания, ребятки! — сказал он и, указав на меня бутылкой шампуня, поинтересовался: — Он учится или работает?

— В лицее, на второй год оставили, — сказал Мустафа.

— Чем у тебя отец занимается?

Я молчал.

— Лотерейные билеты продает, — ответил Мустафа.

— Осторожнее с этим маленьким шакалом! — сказал парикмахер. — Слишком вспыльчивый. Ну да ладно, идите.

Наши засмеялись. А я уже решил, что теперь и мне пора что-нибудь вставить, ну, например — не мучай своего помощника, хорошо? — так я и собирался ему сказать, но не сказал. Не глядя на помощника, я вышел на улицу. Сердар с Мустафой смеются, разговаривают, но я вас не слушаю, я ничего не соображаю. А потом Мустафа сказал Сердару:

— Не обращай на него внимания, он вспомнил, как был парикмахером.

— Шакал!

Я ничего не сказал. Моя обязанность — нести эту сумку, а когда придем в нужное место — вытаскивать и давать билеты. Мы здесь вместе, так как нас позвали из Дженнет-хисара и поручили эту работу, но с вами — теми, кто издевается надо мной заодно с лавочником и смеется, повторяя это обидное слово, — мне говорить не о чем. Я молчу. Мы вошли в аптеку, я молчал, в городок пришли — молчал, в бакалее и после нее — у кузнеца, продавца кофе и в кофейне — я тоже молчал и не разговаривал, пока мы не обошли весь рынок. Когда мы вышли из последней лавки, Мустафа засунул руки в карманы.

— Теперь мы заслужили по котлете, — сказал он.

Я промолчал, не стал говорить, что деньги эти нам

дают не на котлеты.

— Да, — согласился Сердар. — Теперь-то по порции мы заработали.

Однако, когда мы сели в закусочной, они заказали по две порции. Они собирались съесть по две порции, а я не собирался есть ни одной. Пока мясо готовили, Мустафа вытащил из кармана деньги и сосчитал: семнадцать тысяч лир. Затем он сказал Сердару:

— А этот что сидит с кислым лицом?

— Сердится, что мы его шакалом обозвали, — ответил Сердар.

— Во дурак! — сказал Мустафа.

Но я ничего не слышал, потому что разглядывал календарь на стене. Потом принесли котлеты. Мы поели — они разговаривали, я молчал. Они заказали и сладкое. Я взял ревани<sup>12</sup> — было вкусно. Потом Мустафа вытащил пистолет и, направив его под стол, стал в шутку стрелять из него.

— Дай-ка! — сказал Сердар.

Он тоже пострелял понарошку. Мне не дали, а только посмеялись, потом Мустафа засунул пистолет за пояс, оплатил счет, мы встали и ушли.

Никого не боясь, мы прошли через рынок, вошли в деловой центр и молча поднялись по лестнице. Мы пришли в помещение союза, и тогда я, кажется, как всегда, испугался. Будто списываю на контрольной и волнуюсь, как дурак, потому что учитель уже заметил меня, а учитель видит, что я волнуюсь, и понимает, что я списываю...

— Весь рынок обошли? — спросил какой-то

красивый мужчина.

— Да, братец, — ответил Мустафа. — Все, что вы сказали.

— У тебя ведь все с собой?

— Да, — сказал Мустафа, вытаскивая пистолет и деньги.

— Я только пистолет заберу, — сказал тот. — Деньги примет Зекерия-бей.

Мустафа отдал пистолет. Красивый мужчина вышел из комнаты. Мустафа вышел следом. Мы ждем. В какой-то момент я подумал — а чего мы ждем? Будто забыл, что мы ждем Зекерия-бея, а мы будто сидим здесь просто так. Потом пришел еще один, такой же как мы, и протянул нам сигареты. Я не курю, но взял. Он вытащил зажигалку в форме паровоза и дал нам прикурить.

— Это вы идеалисты из Дженнет-хисара?

— Да, — ответил я.

— Ну и как там?

«Что ему надо?», — подумал я. У сигареты неприятный вкус. Я будто постарел.

— Наш квартал — наверху, — ответил Сердар.

— Я знаю, — сказал он. — Я спрашиваю про берег. Где коммунисты из Тузлы.

— Нет, — внезапно произнес я. — В Дженнет-хисаре у моря все нормально. Там только господа с деньгами.

Он посмотрел на меня и улыбнулся. Я тоже улыбнулся.

— Ладно, — произнес он затем. — Никогда не

знаешь, что будет.

Сердар сказал:

— Кому принадлежит верхний квартал, тому и берег.

— Да. Тузлу они так и захватили. Смотрите, будьте осторожны.

После этого я задумался о коммунистах. Я размышлял о них и курил с серьезным видом, как вдруг человек, который разговаривал с нами, спросил меня:

— Ты новенький, да? — И, не дожидаясь моего ответа, пошел в другую комнату.

Я даже ответить не успел! Сердар утвердительно покачал головой. Интересно, как это они сразу видят, что я — новенький? Почему он улыбнулся, когда я сказал о богатых господах? Сердар тоже встал и вышел куда-то в другую комнату, и теперь я остался один; Сердар оставил меня одного словно для того, чтобы все, кто входил и выходил, видели, что я — новенький. А я курю, смотрю в потолок и размышляю о важных вещах, настолько важных, что все, кто входит и выходит, посмотрев на меня, сразу поймут, о чем я думаю, — о проблемах поведения. Есть такая книга, я ее читал. Пока я раздумывал, вышел Мустафа, с кем-то расцеловался, и вдруг все расступились — да, это пришел Зекерия-бей. Он входил к себе в кабинет и тут взглянул на меня — я тоже решил встать, но успел только приподняться. Потом позвали Мустафу. Когда он ушел, я задумался о том, что они там обсуждают, а потом они вышли, и на этот раз я встал.

— Хорошо, — сказал Зекерия-бей нашему Мустафе. — Когда понадобится, мы опять дадим тебе знать. Молодцы!

Затем он взглянул на меня, я заволновался и решил, что он мне что-нибудь скажет, но он ничего не сказал. Только вдруг чихнул и опять ушел наверх — говорят, на заседание. Потом Мустафа пошептался с парнем, который только что разговаривал с нами. Сначала я решил, что они говорят обо мне, но нет, ерунда, конечно, они говорят о политике, о важных вещах... Я отвернулся от них, чтобы они не решили, что я подслушиваю их, и не сочли меня любопытным.

— Ну что, ребята, — сказал после этого Мустафа, — уходим.

Я снял с себя сумку. Мы молча дошли до вокзала, как люди, успешно выполнившие свой долг. А я подумал: чего это Мустафа ничего не рассказывает? Я больше не сержусь на них. Понравилось ли ему, как я работал? Я думал обо всем этом, пока сидел на вокзальной скамейке и ждал поезда, а потом, увидев вокзальный лотерейный киоск, стал думать об отце; правда, об отце мне думать не хотелось, но я все-таки думал о нем и пробормотал сам себе то, что давно хотелось сказать ему: «Папа, диплом лица — в жизни не самое главное!»

Подошел поезд, мы сели. Сердар с Мустафой, естественно, опять шепчутся. Сейчас скажут что-нибудь или пошутят так, что выставят меня дураком. А я буду пытаться выдумать шутку в ответ, но быстро придумать ничего не смогу, и, пока я буду

соображать, они, глядя на мое сосредоточенное лицо, будут смеяться еще больше. Тогда я разозлюсь, не выдержу, выругаюсь и вдруг замечу, что они хохочут еще громче, а я выгляжу еще глупее. Потом мне захочется побыть одному — ведь в одиночестве можно совершенно спокойно размышлять о великих делах, которые предстоит совершить в жизни. Иногда я не понимаю их шуток: они перемигиваются — вот как сейчас, повторяя это слово: «Шакал!» Интересно, какой он, шакал? В начальной школе у нас в классе была одна девчонка, она принесла как-то энциклопедию животных — хочешь посмотреть, кто такой тигр, открываешь энциклопедию и ищешь на «т»... Если бы у меня сейчас была эта энциклопедия, я бы открыл и посмотрел, что такое «шакал». Но мне девчонка энциклопедию не давала: «Нет, ты испачкаешь!» — вот дура, зачем же ты тогда в школу ее принесла?! Впоследствии та девчонка, естественно, уехала в Стамбул — говорили, что ее отец разбогател. У нее еще подруга была, с синей лентой в волосах...

Кажется, я задремал... Когда поезд приехал в Тузлу, я забеспокоился, но страшно не было. В любой момент могут войти коммунисты. Сердар и Мустафа тоже замолчали и нервно поглядывают по сторонам. Но ничего не произошло. Поезд тронулся, и тогда я увидел надписи коммунистов на заборах: «Тузла станет фашистам могилой!» Значит, мы и есть те самые фашисты. Я выругался. Потом поезд доехал до нашей станции, мы сошли и молча пошли на остановку.

— Парни, у меня есть дело, — сказал Мустафа. — Пошел я!

Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся между маршрутными такси. И тут я неожиданно сказал Сердару:

— Не хочу в такую жару идти домой делать уроки.

— Да, — согласился Сердар, — очень жарко.

— Да и не соображаю я сейчас ничего, — сказал я. Помолчал немного и добавил: — Ну-ка, Сердар, пошли в кофейню.

— Не. Я в магазин. У меня дела.

Он ушел. Если у твоего отца есть магазин, у тебя внезапно, ни с того ни с сего, могут появляться дела. Но я-то все еще учусь! Не бросил, как все вы! Как странно: больше всего смеются надо мной. Я уверен, что Сердар вечером придет в кофейню раньше всех и расскажет всем про шакала. Плюнь, Хасан, не расстраивайся — а я и не расстроился, а стал подниматься вверх, на холм.

Я смотрю на быстро проезжавшие мимо меня машины, грузовики, которые торопятся на паром в Дженнет-хисар или Дарыджу<sup>13</sup>, и мне как будто нравится думать, что я одинок. Я бы хотел, чтобы со мной произошло какое-нибудь приключение. В жизни так много всего, так много может произойти, а я все время чего-то жду. То, чего я хочу, происходит, но будто бы очень медленно, и когда случается, то совсем не так, как я думал и как ожидал. Так мне кажется. Все события происходят очень медленно, как будто бы для того, чтобы меня разозлить, а потом



вдруг смотришь — а все уже давно закончилось. Вот как эти проезжающие машины. Они начинали действовать мне на нервы, я смотрю — может, хоть кто-нибудь остановится и мне не придется по такой жаре подниматься в гору. Но в этом мире никому дела до тебя нет. Я стал есть свой персик, но это меня не отвлекло.

Была бы сейчас зима — я бы сейчас побродил в одиночестве по пляжу; не стесняясь никого, вошел бы через открытую калитку на пустынный песчаный пляж; волны плескались бы, ударяясь о берег, а я бы брел по песку, то подпрыгивая, то отбегая, чтобы вода не попала в ботинки, и думал бы о своей жизни, думал бы, что обязательно стану кем-нибудь важным, и еще бы думал, что тогда на меня посмотрят другими глазами не только все эти дураки, но и все девчонки. И тогда мне не было бы так грустно, особенно при мысли о будущем, и тогда бы я не сказал Сердару: «Ну-ка пошли в кофейню», а мне было бы хорошо и одному — если бы сейчас была зима. Но зимой есть школа, черт бы ее побрал, чокнутые учителя...

А потом я увидел тот самый белый «анадол»<sup>14</sup>, поднимавшийся в гору. Пока машина медленно приближалась, я понял, что в ней — они, но, кажется, застеснялся и, вместо того чтобы остановиться и поднять руку, отвернулся. Они подъезжали все ближе и ближе, но, не узнав меня, проехали мимо. Когда они поравнялись со мной, мне на миг показалось, что я ошибся. Ведь в детстве Нильгюн не была такой красивой! Но кем еще, кроме Фарука, может быть тот